

**РОБЕРТ БАЛАКШИН,**

*г. Вологда*

## **НАКОНЕЧНИК СТРЕЛЫ**

Только что принесли градусники. Я сунул себе под мышку стеклянную сосульку и вздохнул. Потом принесут таблетки, потом придут санитарки с тазом, умоют меня, потом завтрак, потом обход, потом массаж, потом всадят зараз пять уколов, от которых деревенеют ноги, потом придет мать, посидит, перевернет меня на бок, протрет пролежни нашатырным спиртом, всплакнет, постигает мне ноги в дополнение к массажу, потом обед, потом опять уколы, потом вечер, потом бесконечная ночь — и все это тянется и длится уже три месяца, и один Бог да лечащий меня хирург знают, когда все это кончится. Люди поступают в палату — чаще не своим ходом, выздоров-

ливают, уходят, а я все лежу и лежу на спине и лишь в воспоминаниях могу представить, что и я когда-то мог сидеть, стоять, ходить, как и все здоровые люди. Много бы я дал, чтоб сесть, посидеть хотя бы пять минут, освободить тело от вынужденного мучительного покоя.

Перелом позвоночника и многочисленные ушибы головы.

«Тяжелый случай», — говорит хирург.

Все ясно. Добро, если с костылями ходить буду, да и на коляске по комнате разъезжать — тоже лучше, чем всю-то жизнь пластом лежать. А лежат же как-то люди. Принесла мне мать газетные вырезки: этот книжки стал писать, когда инвалидом сделался, другой модели строит, третий из дерева чего-то вырезает. Зачем мне это — ни строить, ни вырезать я не могу: не всякий умельчик родится. И книжки писать я не смогу. Читать их люблю, особенно историческое что-нибудь, а писать... Не та голова. Угол заложить какой угодно сумею, кладку под расшивку вести смогу. Нет уж, кто чем работать способен, тот пусть тем и работает на совесть — кто пером, а кто мастерком да кирешкой.

Да, видно, не поработать уж больше мне, не посидеть со своими мужиками в вагончике, не перекинуться словечком с Валькой-крановщицей — на что я ей изломанный такой. Тяжело. Так тошно на душе делается, уж лучше бы подохнуть, думаешь, чтоб не быть в тягость ни себе, ни людям. Иной раз кажется — не вмоготу уж терпеть, а все равно терпишь, хотя откуда оно и зачем берется, терпение-то? А в последнее время — это самое невыносимое — сон у меня пропал. Прикажешь себе не спать днем, а сам неприметно до обеда, да после обеда, да к вечеру часок-другой прихватишь, вот ночью-то и маешься: справа и слева от тебя храпят, сопят, стонут, ворочаются с бока на бок, что-то бормочут больные, покалеченные люди, а ты лежишь с открытыми глазами и смотришь в серый потолок. Мука. А если и забудешься под утро, то вместо успокоительного, ровного сна накатывается один и тот же неправдоподобный страшный кошмар.

...Взяв Рязань, порубив всех жителей и разорив некогда цветущий град, Батый двинулся дальше. Громадные конные подразделения потянулись по дороге. Ржут кони, слышится непонятная речь, скрипят телеги обоза. Морозный день, но в воздухе тяжелый запах от потных лошадей. Вдруг — дикие вскрики, суета, визг, вой, рев, скрежет стали, свист стрел. Прорубаясь сквозь густой поток татаро-монголов, по дороге спешит небольшой отряд всадников в островерхих шлемах, с прямыми мечами. Сначала отряд продвигается довольно быстро, затем все медленней.

Согласитесь, недурно, сидя в теплой комнате, устроившись в удобном кресле с чашкой чая или кофе, смотреть по телевизору, да еще цветному, какой-нибудь исторический фильм. Какие захватывающие битвы, какие ожесточенные схватки! И как порой ни бывает страшно, как ни замираешь от ужаса и восторга, ты знаешь, что все это неправда, что в рискованных ситуациях, когда нужно свалиться лошади на всем скаку, актера подменяет тренированный спортсмен, что дерутся герои оружием из облегченных сплавов, а кольчуги и латы на них из сплавов, напротив, наиболее прочных, что с крепостной стены летит в ров не человек, а искусно изготовленная кула и что несчастная жертва, только что издававшая вопли и истекавшая кровью, разгримировавшись после съемки, спокойно занимается своими обыденными делами. Но видеть, как в двух шагах от тебя не ловкачи-каскадеры, а обыкновенные русские мужики, которым бы сейчас в самую пору валить лес, вывозить сено с дальних покосов, чинить инвентарь, готовясь к весне, то есть исполнять необходимую зимнюю мужицкую работу, молча рубятся с озверело нападающими на них врагами, как брызжет и хлещет дымящаяся на морозе кровь, слышать, как с хрустом рубит тело меч, рвет кольчугу сабля, как крики ярости и боли заглушаются бешеным храпом возбужденных коней, видеть, как снег вокруг становится красным, как раненых, выбитых из седла, затаптывают копыта коней, — в этом увлекательного мало. И если б самому находиться там, в этой гуще. Но видеть все это со стороны, из кустов!..

Отряд остановился совсем. В это время на пригорке у дороги сноровисто раскинули большой разноцветный шатер.

Командир отряда указал мечом на шатер, что-то крикнул. Отряд, точнее, то, что от него оставалось, рванулся вперед, но не стронулся и на шаг. Слишком неравны были силы.

Вскоре от отряда остался один Евпатий. Пеший. Татары прихлынули к нему, и какое-то время его не было видно. «Все?» — подумал я — как вдруг татары отпрянули от него. Десятки людей с кривыми саблями смотрели на забрызганного с головы до ног липкой кровью, надрывно дышавшего, необыкновенно широкого, коренастого человека.

Какая же нужна мощь духа, сила, выносливость, чтобы устоять одному против множества испытанных в боях людей!

Евпатий чуть опустил меч. По нему тотчас побежала струйка крови, протаяла в снегу ямку. Послышались начальственные окрики, и, нагло расталкивая толпу, к Евпатию приблизился Хостоврул, монгол огромного роста с длинной и широкой, как двуручная пила, саблей.

Наступила тишина. В этот миг тишины в глубине леса снялась с ветки и застрекотала сорока, понесла по всему лесу какую-то весть.

Хостоврул не дождался Евпатия шага три, и они кинулись друг на друга. Что-то лязгнуло, раздался всеобщий вой, и, разрубленный, как на бойне, монгол рухнул навзничь.

Снова все бросились на Евпатия. Я не видел, сколько врагов он успел зарубить перед смертью, но, когда от нарядного шатра прибыли слуги и все растащились перед ними, под трупами не видно было снега.

Тело Евпатия подняли, понесли к шатру. Батый, лениво взглянув на павшего, произнес несколько одобрительных, впрочем, ничуть не задевавших самолюбия его войска слов и приказал бросить тело русского батыра в лесу. И тут я прыгнул на него. Я был единственный живой русский здесь. И не мог спокойно видеть, как враги глумятся над останками Евпатия.

Но в момент прыжка каган шагнул в сторону, и я только ухватил его за полу толстого, простеганного, как фуфайка, с меховым подбоем халата. Батый в испуге отскочил. Нукеры кинулись на меня. Я выхватил из кармана пистолет. Защелкали выстрелы. Телохранители с протянутыми руками, с лицами, полными ярости и страдания, валились почти у моих ног.

— Шайтан, шайтан! — раздалась вопли.

Все застыли в нерешительности. Я посылал в упор пулю за пулей, но, нажав спусковой крючок в очередной раз, не услышал выстрела. Я сунул руку в карман за обоймой.

— Хватайте его! — раздался голос Батыя, единственного, кто не потерял самообладания и уловил мою заминку.

«Ах, надо бы первого его! Вот всегда так, в спешке упускаешь самое важное».

Обойма, как назло, встала поперек кармана. Меня схватили, заломили руки за спину, скрутили их сыромятным ремнем, и через мгновение я стоял перед Повелителем Вселенной.

Это был молодой человек примерно моих лет, с типично монгольским лицом, немного одутловатым, но не лишенным известной выразительности и даже ума, которые придает человеку сознание неограниченной власти.

— Как ты осмелился, раб, прикоснуться к Повелителю Уселенной! — сказал Батый.

— Во-первых, я не раб, — начал я.

— На колени, собака!

Резкий пинок в поджилки поверг меня на колени. Вспыхнув от стыда, я сразу вскочил, но пинок срубил меня вновь. Лишь только я поднялся второй раз, удар плетью по голове прожег меня до пяток. Долго они еще воевали со мной, ставили на колени, хлестали плеткой, пинали и угощали зуботычинами. Помню, поднимаясь последний раз, мне удалось хватить ртом теплого, вперемешку с собственной кровью снега. И все-таки я встал!

Батый что-то проронил вполголоса, и я ощутил у губ прохладный край чаши. В чаше был удивительный напиток: я сделал несколько глотков, а боль от побоев исчезла, в голове стало ясно.

— Кто ты? — спросил Батый, когда мне сырой, воняющей конским телом тряпкой отерли кровь с глаз. — Ты мне нравишься. И почему на тебе такая странная одежда?

Я молчал. Что я ему скажу? Что я — Валентин Соколов, живу в областном центре, работаю каменщиком в СУ, образование — десять классов, беспартийный, для повышения общего уровня читаю историческую литературу, год как из армии, не женат, получку матери отдаю исправно, в данный момент нахожусь на излечении в травматологическом отделении горбольницы? Все это ему ничего не скажет, мы с ним из разных эпох. А что на мне пижама такая, я тут ни при чем, их такие на фабрике шьют. В больнице не до фасона, мерку с каждого снимать не станешь.

И тут меня осенило: я же знаю будущее. Скажу-ка я ему всю правду, отговорю от дальнейшего похода. Сколько людей будет спасено! История изменит свой ход.

— Батый, — начал я. В глазах кагана появилось недоумение, однако мне было не до тонкостей, я стал мерзнуть и заговорил торопливо: — Я должен предостеречь тебя. Ты затеял опасное и бесперспективное предприятие. Покорить Русь — неслыханное дело! Это никому не удавалось и не удастся. Одумайся, отведи войска назад, ты сохранишь сотни тысяч монгольских и русских жизней, нынешних и будущих. Ты ослеплен первыми успехами, и я знаю, они будут продолжаться, но через сто с лишним лет войска хана Мама будут наголову разбиты Дмитрием Донским, а спустя век Золотая Орда вообще перестанет существовать, и русские женщины все реже будут рожать узкоглазых детей. Напрасно ты мнишь...

— Всюду будут только монголы. У всех русских будет смуглая кожа и черные волосы, — нахмурившись, перебил меня Батый.

— Черными разве только от крови, — улыбнувшись, возразил я и спохватился: не время вступать с ним в дебаты.

— Мы будем владеть вами тысячу лет, — важно заявил Батый.

«Боже мой, опять эти бредни о тысяче лет», — подумал я и продолжал:

— Не такие, как ты, сломали о нас зубы. Гитлер похлеще тебя был, да ничего у него не вышло.

— Кто такой? — с презрением спросил Батый, и глаза его злобно сощурились.

— Не знаешь ты. Скажу только, один его бронетанковый батальон разогнал бы сейчас все твое войско по окрестным лесам и оврагам. И передохли бы вы все там, как шакалы.

Батый потемнел и махнул рукой. Не понравились ему мои предсказания.

Во мгновение ока я был поставлен с ног на голову. Была у монголов такая варварская казнь. Но неужели я буду молить о пощаде? И, вспомнив городской ров Рязани, забитый трупами воинов, и множество обгорелых, обезображенных детских и женских тел на улицах, я заорал:

— Одумайся, фашист! Пожалей хоть женщин и детей! Детей! Детишки-то, бедные, не виноваты. Своло...

Я услышал хруст, как будто лопнуло толстое стекло, вдоль спины проскочила жгучая молния и вонзилась в затылок...

Когда, развязав ремни, меня швырнули издыхать у дороги и я проблесками угасавшего сознания ловил крики команд и топот лошадей, я сгреб коченеющими пальцами наконечник стрелы с коротким обломком древка...

Я просыпаюсь. Светает. Еще все спят. Отворяется дверь, входит сестра с градусниками. Опять все сначала.

Кто-нибудь сочтет этот кошмар выдумкой, уж больно все складно, да и какие пистолеты при Батые. Думайте что хотите, а мне приятно вообразить, что все было именно так, что не свалился я с лесов, пытаюсь удержать сорвавшегося товарища, и прокувыркался три этажа между стеной и лесами.

Но наконечник со мной, он лежит под подушкой. Я нашел его в детстве: купаясь, наколол ногу и достал его из ила и песка. Наш край не был завоеван Ордой, но мы платили дань, и кто знает, может быть, на этом месте напала из засады ватага вольных новгородских ушкуйников на обоз баскака, возвращавшегося с богатым выходом, и истребила всех, не дала уйти ни одному хищнику. Сгинул обоз без следа.

Я не расстаюсь с наконечником. Я брал его, отправляясь в пионерлагерь, три года службы в армии он сопровождал мне, и сейчас я попросил мать принести его в больницу. Ворчала мать, ругалась: что ты, ребенок, с железкой-то этой возиться, брось. А мне спокойней с ним, и, сжимая некогда боевую сталь, ощущывая иззубренное, изоржавевшее острие, я думаю, что это эстафетная палочка. И я должен крепко держать ее, не выронить, а когда не будет меня, ее понесут мои дети, внуки, все, кто будет после меня.

А Валька-крановщица ходит ко мне. Правда, редко. Недосуг ей. Сдает экзамены за десятый класс. Сговаривались заниматься вместе, помогать бы я ей стал. Да вот не получилось.

Может, встану еще, не сломался я. И жизнь не кончилась. Потерплю, поборюсь до конца. Хотя на что-нибудь еще я годен.

